

“И небо смотрит на нас”

Рассказ

Ю.М. Лужков



Инвалид — это человек, который своими страданиями и муками защитил всех живущих от гнева небес, ежечасно вззирающих на грешную землю.

Из китайской философии

Посвящается светлой памяти Елены Мухиной

Вспоминая свое барачное детство, я однажды понял, что, не осознавая того, мы, послевоенные мальчишки, “играли в жизнь”, примеряли игру к скорому и близкому своему будущему. По некоторым приметам, будущее это не сулило нам особенно уж больших радостей. Если судить по некоторым взрослым людям, то после детства ждала нас работа не из самых интересных, не исключалось, что должны были мы в этом будущем присосаться к бутылочке, обязательно жениться, чтобы скандалить потом с женой. Возможны были и более интересные варианты.

Все бы это ничего, но будущая взрослая жизнь многим из нас грозила еще одной гадостью, еще одной бедой, которая называлась “болезнь”. Это отдельная и страшная тема.

После войны немало было инвалидов, и с детским любопытством смотрели мы, как они передвигаются на своих костылях, как выкатываются на своих тележках с колесиками из подшипников, а там уж подбираются к пивной точке, где — вот она, людская доброта, — им наливали пенную кружку без очереди или давали допить со дна.

Тогда, после войны, в воздухе, что называется, пахло грозой. Мы кое-что знали про атомную бомбу, мы жили при “холодной войне” и подсознательно понимали, что ведь и настоящая война тоже возможна. А если война, то, значит, будут инвалиды. Мы будем после войны инвалидами.

Это не детская логика, потому что, между прочим, никогда не было такой последовательности, чтобы после войны не прибавлялось инвалидов. Возьмите хотя бы

Афган, еще не забытые восьмидесятые. Да и более поздние времена, тоже не без крови и слез.

В детской поре и радостей было немало, но сейчас не об этом. Не хочется писать о радостях детства, потому что для друга моего Сережки радостей никаких не было. Да и было ли у него детство, это тоже вопрос.

Мы как-то привыкли, вся наша дворовая команда, к тому, что тетя Катя, его одинокая мама, выносила Сережку во двор, усаживала на скамейку (была у нас такая, парковая, с прогнутой спинкой), ни к кому отдельно не обращаясь, говорила: ребята, присмотрите за Серегой. А кому там было смотреть! Мы то в футбол, то купаться, то в кино, а Серега сидел и сидел, сваливаясь бессильно набок, перекашиваясь, сползая в вогнутость скамьи, пока не валился на нее, а встать самостоятельно и нормально сесть он, горькая его доля, сам не мог. Долгими часами смотрел он, лежа на спине, в высокое небо над дворовыми тополями, пока кто-нибудь сердобольный из взрослых не усаживал его или пока мы, дворовая шайка-лейка, не возвращались в родной двор.

Как-то, проникнувшись, как мне казалось, его бедой, я спросил: трудно так жить, Серега?

— А что, умирать надо? — Он посмотрел на меня, и мало детского было в этом взгляде.

Я понял, что он сильнее нас, сильнее любого здорового. И, что совершенно уж точно, он был умнее нас, больше знал, потому что читал больше. Что ему делать-то было, полупараличному, как не читать. Тоннами глотал он книги и во дворе прославился тем еще, что со знанием дела говорил о международном вопросе, а аудитория его была не только мы, ребятня, но и взрослые мужики, они тоже любители посудачить. Вопреки широко распространенному ныне мнению, что в те годы чуть не за каждое слово в лагерь тащили, дискутировал народ изрядно и о многом.

Серега был настолько продвинут, что сам написал про свою болезнь тогдашнему министру здравоохранения и был после этого отправлен на год в Евпаторию, в детский санаторий, где пролежал на спине год без одного дня, потом еще восстанавливался, но в Москву вернулся на своих ногах. Все это было позже, а настоящую муку он испытал еще до Евпатории.

Жил у нас во дворе некто Коля Фаронкин, сверстник-ровесник, наш замоскворецкий пацан с ранней наколкой на прочной груди, с довольно-таки лихими замашками, с жесткой волей, не отграненной разумом. Он любил поиздеваться над Серегой. Я дрался с Фаронкиным до крови — за Серегу. Колька залез однажды, обхватывая ствол ногами и подтягиваясь на сильных руках, на тополь, что стоял у скамейки, и сверху окликнул:

— Серега!

— Чего тебе? — спросил Серега.

— Лезь сюда, урод. Тут веселей, чем на скамье лежать!

Серега молчал.

— Слышь, ты, грамотей, а ты на бабу залезешь, когда вырастешь? Трудно будет — обращайся. Я помогу. Бабе твоей.

Я ждал Кольку внизу. Серега говорил мне: не связывайся с животным. Колька слазил с тополя, мы кидались друг на друга. Он был посильнее меня, но это ровно ничего не значило, потому что я его ненавидел, а он меня недооценивал. Когда мы делились на команды, чтоб погонять мяч во дворе, Колька говорил погромче: “Серега, центральным нападающим будешь нынче!”

Однажды он, когда не было свидетелей, увез Серегу на трамвае, оставил его на последней глухой остановке, глумливо наказав побираться на новые костыли.

— С костылями будешь — тебе девки не откажут.

Из-за этих издевательств над Серегой, публичных и тайных, к нему как-то незаметно приклеилась кличка Фашист. Серега его первым так назвал. Я вторым. Я прокричал ему в рожу это слово, когда он в очередной раз затеял судачить про девок, как с ними инвалидам неудобно справляться. Советовал Сереге подручными средствами обходиться. Подрались мы вплоть до участкового со странной фамилией Брит, которого мы, пацаны, панически боялись. Урод он был моральный, Коля Фаронкин, и, сдается мне, осознавал это в глубине небольшой своей души, но именно это и злило его, и кипятило его скудный разум.

После Евпатории Серега быстро пошел в гору, а Коля Фаронкин — с горы. Серега накачал мускулы, у Коли несколько обозначился ранний пивной живот. Появились и девушки в свой срок, причем у Сергея это была истинная красавица, а про избранницу Фаронкина я умолчу.

Как-то в состоянии изрядного поддатия Коля Фаронкин обратился по старой памяти к Сереге: мол, качаешь ты мышцу, но на тополь все равно не залезешь. Потому что паралич не лечится, в натуре.

— Пятнадцать секунд мне надо. Засеките, парни, — сказал Серега.

Он буквально взлетел на тополь. Так же быстро спустился.

— Знаешь что, сука, — выдохнул Фаронкин, — я все равно выше залезу. За то же время. А ты особо не гордись (он тут матерно сказал, другое слово), по тебе, урод, Евпатория плачет.

Фаронкин забрался на тополь, заготовил там пьяно, начал раскачивать ствол. Ветка под ним хрустнула тихо. Он упал спиной поперек скамьи, и треск его позвоночника был ужасен. Направление в Евпаторию ему устроил Сергей. Фаронкин долго там лежал, лечился мучительно.

Потом нас, как водится, жизнь поразбросала. Мы все в этой большой жизни ушли с нашего двора, каждый в свою сторону, в свое дело. Я стал, скажу без ложной скромности, крупным инженером, одним из трех ребят, вышедших из нашего барачного двора с высшим образованием. Остальные в основном побывали в местах не столь отдаленных. Сергей (фамилия его, полагаю, и вам известна — Игнатовский) обрел в профессиональных кругах мировую славу: он первый научился ремонтировать спинной мозг, восстанавливать его целостность. Поговаривали, это было открытие мирового уровня.

Встретился я с Игнатовским много позднее, когда он занялся искусственными суставами и искал для них металлический сплав с набором особых свойств. Сплав этот хорошо работает в двух местах: в космосе и в тазобедренных суставах. Так вот кружит нас жизнь. Мы стали уже седыми, и, надо сказать, его ведомственная слава осталась камерной по звучанию. Удивляться тут не приходится, потому что основная слава достается, как широко известно, каким-то “звездам”. Ну да, жили без славы — и не пропали. В зрелой поре старые друзья любят вспомнить детство. Душевная оптика тут настраивается на лирический лад, включается ностальгический фильтр, и все былое кажется лучшим, чем оно было на самом деле. Так-то вот за недорогим коньяком мы с Сергеем вспомнили детство и, естественно, Фаронкина. Когда я назвал эту звучную фамилию, Игнатовский шутливо боднул меня головой в плечо, сказал:

— А ведь доставалось тебе в тех драках.

— Фаронкину тоже, — ответил я. — Где он сейчас, жив ли, не знаешь? Он же тогда пополам переломился.

Как-то особо посмотрел на меня Игнатовский. Спросил:

— Что, реально ничего не слышал о нем? Этого быть не может!

— Серега, не томи. Не интригуй.

— Да ты, гляжу, совсем темный. Ну же: Николай Фаронкин! Знаменитый массажист! Соедини прошлое с настоящим, Григорьев.

— Это тот, кто людей на ноги ставит? — охнул я. — Это что, тот самый Фаронкин?

— Именно, — сказал Игнатовский.

Мы помолчали. Потом Сергей рассказал удивительную жизненную историю.

Еще учась в медицинском, он занялся здоровьем Фаронкина, его поврежденным позвоночником. Там реальная была катастрофа, но один шанс из миллиона оставался. Игнатовский этот шанс не просмотрел, а Фаронкин не упустил. По методике Игнатовского он тренировался с нечеловеческим упорством, перенес не одну операцию и в результате стал знаменитым массажистом с чудо-руками. По телевидению программу вел. Вот к нему позднее и пришла слава. Полагаю, что и деньги побольше профессорских, но это не так уж важно.

— Он у меня в клинике работал, в каком-то роде правая рука, — сказал Игнатовский.

— У тебя? А детство вы с ним не вспоминали?

— Кто старое помянет, тому глаз вон.

— А кто забудет, тому оба, — сказал я.

Опять мы помолчали.

Из дальнейшего рассказа я узнал, что излеченный Фаронкин пришел однажды к Игнатовскому и сказал (не на людях они были на “ты”): “Серега, отпусти меня. Мне тут тяжело”.

— Чем ты недоволен, Николай? — спросил Игнатовский.

— Все эту скамейку во дворе вспоминаю. Тополь. Отпусти меня. Совесть заела.

Они расстались.

Через год примерно после этой нашей встречи с Игнатовским я заехал по душевному порыву к своим баракам. Двор наш сохранился, но ни тополя, ни скамейки я не нашел. Стояли тут дома-новостройки, над ними — высокое синее московское небо. Преподобное и вечное. Мне показалось, что оно помнит меня, Кольку и Серегу. Да и я, конечно, ничего не забыл. Ведь было же оно у меня, мое детство. Особенное, не такое, как у всех. Потому что у каждого оно свое.